

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Часть первая</b> .....	7
Глава I .....	9
Глава II .....	20
Глава III .....	35
Глава IV .....	46
Глава V .....	62
Глава VI .....	77
Глава VII .....	89
Глава VIII .....	99
Глава IX .....	111
Глава X .....	121
Глава XI .....	132
Глава XII .....	145
Глава XIII .....	159
Глава XIV .....	172
Глава XV .....	191
Глава XVI .....	209
Глава XVII .....	229

<b>Часть вторая</b> .....	237
Глава I .....	239
Глава II .....	252
Глава III .....	264
Глава IV .....	282
Глава V .....	296
Глава VI .....	313
Глава VII .....	330
Глава VIII .....	347
Глава IX .....	362
Глава X .....	374
Глава XI .....	388
Глава XII .....	398
Глава XIII .....	410
Глава XIV .....	419
Глава XV .....	438
Глава XVI .....	448
Глава XVII .....	461

# Часть первая



## ГЛАВА I

**В** Петрограде воняло карболкой. Розово-серое знамя, которое было когда-то красным, развевалось в переплетении стальных перекладин. Высоченные балки поддерживали крышу из стеклянных панелей, серых, словно сталь, от многолетней пыли и ветра. Некоторые панели были разбиты, пронзенные давно забытыми выстрелами, острые края торчали на фоне такого же серого, как и стекло, неба. Под знаменем болталась бахрома паутины; под паутиной — огромные железнодорожные часы без стрелок с черными цифрами на пожелтевшем циферблате. Под часами толпа бескровных лиц и засаленных тулупов ждала поезд.

Кира Аргунова возвращалась в Петербург на подножке товарного вагона. Ее стройные ноги были загорелыми; в своем голубом выцветшем костюме она стояла прямо, неподвижно, с гордым безразличием пассажира роскошного океанского лайнера. Старый кусок шотландского шелка был замотан вокруг ее шеи. Короткие взъерошенные волосы выбивались из-под вязаной шапочки с ярко-желтой кисточкой. У Киры был спокойный рот и слегка расширенные глаза с вызывающим, восхищенным, торжествующим и выжидающим взглядом воина, который входит в незнакомый город и не совсем уверен, входит ли он как завоеватель или как пленник.

Вагон за спиной Киры был забит людьми и узлами. Вещи были завязаны в простыни, забиты в мешки из-под муки, прикрыты газетами. Люди кутались в истрепанные накидки и шали. Бесформенные узлы служили им постелями. Пыль вычерчивала морщины на иссушенной, потрескавшейся коже лиц, давно уже утративших всякое выражение.

Медленно, устало поезд приблизился к остановке, последней за долгий путь через разоренные просторы России. На трехдневный переезд из Крыма в Петроград ушло три недели.

В 1922 году работа железных дорог, так же, как и всего остального, все еще не была налажена. Гражданская война подошла к концу. Последние следы Белой армии были уничтожены. Но в то время как Красная власть взнуздывала страну, сеть стальных рельсов и телеграфных столбов все еще безвольно висела, ускользая от ее железной хватки.

Не было расписаний, не было справочных. Никто не знал, когда может прибыть или отправиться поезд. Неопределенные слухи, что он прибывает, собирали толпы встревоженных пассажиров на каждой станции. Они ждали часами, днями, боясь отлучиться с вокзала, где поезд мог появиться через минуту, а мог и через неделю. Заваленные мусором полы в залах ожидания воняли человеческими телами. Люди кидали узлы на пол, а свои тела прямо на узлы и спали. Они терпеливо жевали засохшие корки хлеба и семечки, не снимая одежду неделями. Когда наконец, фыркая и тяжело вздыхая, поезд подкатывал к перрону, люди бросались на приступ, вооруженные лишь кулаками, ногами и свирепым отчаянием. Они намертво прилипали к ступенькам, к буферам, к крыше. Они теряли багаж и детей; без звонка или объявления поезд внезапно трогался, унося с собой тех, кому посчастливилось зацепиться.

Кира Аргунова начинала свой путь не в товарном вагоне. Вначале у нее было отдельное место — маленький стол у окна пассажирского вагона 3-го класса; этот стол был центром купе, а Кира — центром внимания пассажиров.

Молодой совслужащий восхищался линией, которую силуэт ее тела вычерчивал на освещенном квадрате разбитого окна.

Рыхлая дама в меховой шубе негодовала, потому что вызывающая поза девушки чем-то напоминала танцовщицу кабаре, пристроившуюся на столике среди бокалов шампанского, но у этой «танцовщицы» лицо было исполнено такого строгого и надменного спокойствия, что женщина даже усомнилась: а может, все-таки не столик кабаре, а пьедестал?.. На протяжении многих верст соседи по купе всматривались в поля и луга России, мелькавшие словно фон для гордого профиля с копной каштановых волос, отброшенных с высокого лба ветром, который свистел снаружи в телеграфных проводах.

Из-за недостатка свободного места ноги Киры покоились на коленях ее отца. Александр Дмитриевич Аргунов устало сгорбился в своем углу, сложив ладони на животе; его красные, опухшие глаза были наполовину прикрыты дрожащими веками, время от времени он со вздохом вздрагивал, обнаружив, что дремлет с открытым ртом. Он кутался в залатанную накидку цвета хаки, на нем были высокие крестьянские сапоги со стоптанными каблуками и рубашка

из мешковины. На спине все еще можно было прочесть: «Украинский картофель». Это не было сознательной маскировкой, просто другой рубашки у Александра Дмитриевича не осталось. И он ужасно беспокоился, как бы кто не заметил, что оправа его пенсне из чистого золота.

Прижатая к его локтю, Галина Петровна, его жена, старалась держать спину прямо, а книгу высоко у кончика носа. Она сохранила книгу, но потеряла все свои заколки в борьбе за место в поезде, когда ее усилиями семье все же удалось протиснуться в вагон. Она старалась, чтобы соседи не заметили, что книга на французском.

Время от времени она осторожно касалась ногой под сиденьем самого драгоценного узла, чтобы убедиться, что он все еще на месте, закутанный крест-накрест в расшитую скатерть. Этот узел хранил последние остатки ее кружевного нижнего белья ручной работы, купленного в Вене перед войной, и столовое серебро с инициалами семьи Аргуновых. Она ужасно негодовала, потому что не могла помешать тому, что узел служил подушкой солдату, спавшему под скамейкой, — его сапоги торчали в проходе.

Лидии, старшей дочери Аргуновых, приходилось ютиться в проходе сразу за сапогами, на одном из узлов; но всем своим видом она давала понять каждому пассажиру в вагоне, что она не привыкла к такому виду передвижения. Лидия не старалась скрыть внешние признаки социального превосходства, из которых с гордостью выставляла три: жабо из запятнанных, но вышитых золотом кружев на истрепанном бархатном костюме, пару тщательно заштопанных шелковых перчаток и флакон одеколона. Она извлекала флакон через определенные промежутки времени, чтобы растереть несколько капель по своим заботливо ухоженным рукам, и быстро прятала его, отмечая страдальческий взгляд матери, искоса брошенный поверх французской книги.

Прошло уже четыре года с тех пор, как семья Аргуновых покинула Петроград. Четыре года назад текстильная фабрика Аргуновых на окраине столицы была национализирована именем народа. Так же во имя народа банки были провозглашены национальной собственностью. Сейфы Аргунова были взломаны и разграблены. Великолепные ожерелья из рубинов и бриллиантов, которые Галина Петровна с гордостью демонстрировала на блистательных балах и благоразумно прятала после приемов, попали в неизвестные руки, и больше никто никогда их не видел.

В те дни, когда тень растущего безымянного страха висела над городом, навалившись словно тяжелый туман на неосвещенные уличные углы, когда внезапные выстрелы разрывали ночь, грузовики,

ощерившись штыками, громыхали по мостовым и витрины магазинов разламывались со звонким вскриком стекла; когда круг знакомых Аргуновых внезапно растаял, как снежинки над костром; когда Аргуновы оказались в стенах их столичного гранитного особняка со значительной суммой денег, с несколькими последними украшениями, с постоянным ужасом при каждом звуке дверного звонка, побег из города стал единственным возможным действием.

Буря революционной борьбы в те дни уже замерла в Петрограде, безропотно и безнадежно признав победу красных, но на юге России она все еще грохотала на полях Гражданской войны. Юг находился в руках Белой армии. Разрозненные отряды этой армии были раскиданы по просторам страны, разъединенные тысячами верст искореженных железных дорог и безлюдных деревень: эта армия воевала под трехцветными знаменами, проявляя страстное, умопомрачительное презрение к врагу и полное непонимание его опасности.

Аргуновы уехали из Петрограда в Крым, чтобы там дожидаться освобождения столицы из-под красного ярма. Они покинули гостиные с огромными зеркалами, отражающими сверкающие хрустальные люстры; породистых лошадей и благоухающие в солнечные зимние дни меха; роскошные окна, выходящие на Каменноостровский проспект — богатейшую улицу Петрограда, где выстроились в ряд великолепные особняки. Их ожидали четыре года в перенаселенных летних лачугах, где пронизывающие крымские ветры свистели в дырявых каменных стенах; чай с сахарином и луковицы, поджаренные на льняном масле; ночные обстрелы и кошмарные рассветы, когда только по красным флагам или трехцветным знаменам на улицах можно было понять, в чьи руки перешел город.

Крым переходил из рук в руки шесть раз. В 1921-м борьба закончилась. От берегов Белого моря до берегов Черного, от границы с Польшей до желтых рек Китая красное знамя с триумфом поднялось под звуки «Интернационала» и позвякивание ключей — это двери других стран закрылись перед Россией...

Аргуновы покинули Петроград осенью, тихо и почти весело. Они рассматривали свою поездку как неприятное, но короткое недоразумение. Они рассчитывали вернуться назад весной. Галина Петровна не позволила Александру Дмитриевичу взять с собой шубу. «Вы подумайте! Он считает, что она продержится целый год!» — смеялась она, подразумевая советскую власть.

Пять лет она продержалась. В 1922-м, с безропотным, тупым смирением семья отправилась поездом обратно в Петроград, чтобы начать жизнь с начала, если такое начало вообще было возможно.



Когда они забрались в поезд и колеса лязгнули, дернувшись в первом рывке в сторону Петрограда, Аргуновы переглянулись, но не произнесли ни слова. Галина Петровна думала об их особняке на Каменно-островском и о том, смогут ли они получить его обратно; Лидия вспоминала старую церковь, где она в детстве преклоняла колени каждую Пасху, и думала о том, что обязательно пойдет туда в первый же день в Петрограде; Александр Дмитриевич ни о чем не думал; Кира внезапно вспомнила, что, когда она ходила в театр, любимым ее моментом был тот, когда гасли огни и занавес трепетал перед раскрытием, и она удивилась, почему она вспомнила именно этот момент.

Стол Киры располагался между двумя деревянными скамейками. Десять голов смотрели друг на друга, словно две напряженные, враждебные, раскачивающиеся в такт поезда стены — десять истощенных, пыльно-белых пятен в полумраке: Александр Дмитриевич и слабый отблеск его золотого пенсне; Галина Петровна с лицом блее, чем страницы ее книги; молодой совслужащий с новым кожаным портфелем, по которому плясали зайчики света; бородастый крестьянин, который был одет в вонючий тулуп и постоянно чесался; изможденная женщина с обвисшей грудью, постоянно истерично пересчитывающая свои узлы и детей; смотрящие на них два босоногих лохматых мальчика и солдат с запрокинутой головой, желтые лапти которого покоились на чемодане из крокодиловой кожи, принадлежащем рыхлой женщине в меховой шубе — единственной пассажирке с чемоданом и с розовыми упитанными щеками, а рядом с ней бледное, веснушчатое лицо раздраженной женщины с гнилыми зубами, в мужском пиджаке и красном платке поверх волос.

Через разбитое окно луч света пробивался внутрь как раз над головой Киры. Пыль танцевала в луче, который обрывался на трех парах сапог, свисавших с верхней полки, где теснились трое солдат. Над ними, в багажной нише, скрючился, упираясь грудью в потолок, чахоточный юноша, беспробудно спящий. Он натужно храпел, дыша через силу. Под ногами пассажиров колеса стучали так, словно брусок ржавого железа разлетался на куски, и куски эти откатывались, громыхнув три раза: и вновь брусок и громыхающие куски, и снова брусок, и снова куски; колеса продолжали громыхать, а юноша иногда затихал, издавая слабый стон, и вновь поверх голов пассажиров разносилось мужское дыхание с присвистом, как будто воздух вырывался из проколотой шины.

Кире было восемнадцать лет, и она думала о Петрограде. Все попутчики говорили о Петрограде. Она не знала, были ли все фразы, прошептаные в пыльном воздухе, произнесены в течение

часа, или в течение дня, или на протяжении двух недель в грохочущем тумане, состоящем из пыли, пота и страха. Она не знала, потому что не вслушивалась.

— В Петрограде едят сушеную рыбу, граждане.

— И подсолнечное масло.

— Подсолнечное масло? Не может быть!

— Степка, не скреби голову надо мной, скреби в проходе!

— В кооперативах в Петрограде давали картошку. Немного подмороженную, но настоящую картошку.

— Вы когда-нибудь пробовали пирожки из кофейных зерен с патокой, граждане?

— В Петрограде грязи по колено.

— Вот простояте в очереди у кооператива три часа и тогда, возможно, получите что-нибудь съедобное.

— Но в Петрограде же нэп.

— А что это такое?

— Никогда не слышали? Вы несознательный гражданин.

— Да, товарищи, в Петрограде нэп и частные магазины.

— Если ты не спекулянт, то сдохнешь с голодухи, ведь денег-то пойти в частный магазин у тебя нет, а следовательно, будешь стоять в очереди у кооператива; но, если ты спекулянт, можешь пойти и купить все что захочешь, а раз ты там покупаешь, значит, ты спекулируешь и, следовательно, воруешь.

— В кооперативах дают пшено!

— Что ни говори, пустое брюхо — оно и есть пустое брюхо. Только вошь жирует!

— Прекратите чесаться, граждане.

Кто-то с верхней полки сказал:

— Вот доберусь до Петрограда, первым делом гречневой каши наверну.

— О, господи, — вздохнула женщина в меховой шубе, — одного и хотела бы, как приеду в Петроград, — принять ванну, прекрасную, горячую ванну с мылом.

— Граждане, — решила спросить Лидия, — продают ли мороженое в Петрограде? Я не пробовала его уже пять лет. Настоящее мороженое, холодное, такое холодное, что перехватывает дыхание.

— Да, — произнесла Кира, — так холодно, что перехватывает дыхание... но можно пойти побыстрее, и кругом огни, длинная цепь огней, проплывающих рядом с тобой, а ты идешь мимо...

— О чем это ты? — прищурилась Лидия.

— О чем? О Петрограде, — Кира взглянула на нее с удивлением. — Я думала, ты вспомнила Петроград и как там холодно, а разве нет?

— Нет. Ты опять ничего не слышала — как обычно.

— Я вспомнила улицы. Улицы огромного города, где столько всего возможно и столько разных приключений может с тобой произойти.

Галина Петровна сухо заметила:

— И ты говоришь об этом с таким восторгом? По-моему, мы все утомлены и с нас достаточно тех «приключений», что происходят сейчас. Разве тебе мало всего того, что мы пережили из-за революции?

— О да, — безразлично произнесла Кира. — Революция.

Женщина в красном платке развязала узелок, достала кусок сушеной рыбы и сказала в сторону верхней полки:

— Добром прошу, убери сапоги в сторону, гражданин. Я ем!

Сапоги не дрогнули. Голос ответил:

— Не носом же ты ешь.

Женщина откусила кусок рыбы, сердито пихнула локтем в меховую шубу соседки и язвительно прошипела:

— Конечно, пролетарии не в счет. Вот если бы у меня была меховая шуба... Только тогда я бы не ела сушеную рыбу. Я бы жевала белый батон.

— Батон? — испугалась дама в меховой шубе. — Но почему, гражданка? Какой нынче белый хлеб? К тому же у меня племянник в Красной армии, гражданка, и... да я и мечтать не смею о белом хлебе!

— Нет? А спорим, что сушеную рыбу жрать не будешь? Хочешь кусочек?

— Э... видите ли, да, спасибо, гражданка... Я немного проголодалась и...

— Ах, проголодалась? Вот как? Знаю я вас, буржуев. Вам бы только вытащить последний кусок из трудового рта! Но из моего рта не вытащишь!

Вагон пропах гнилым деревом, одеждой, которую не снимали несколько недель, и смрадом, распространявшимся из маленькой двери, распахнутой в конце вагона. Дама в меховой шубе поднялась и робко стала пробираться к двери, переступая через тела в проходе.

— Не можете ли вы посторониться на секунду, граждане? — вежливо попросила она двух мужчин, которые ехали с комфортом в коридоре: один из них на бачке для мусора, а другой растянулся в грязи на полу.

— Конечно, гражданка, — ответил сидящий и пнул того, который лежал на полу, чтобы разбудить его.

Закрывшись одна в туалете и убедившись, что ее никто не видит, дама в меховой шубе раскрыла сумку и развернула небольшой сверток в промасленной бумаге. Она не хотела, чтобы кто-нибудь в вагоне

знал, что у нее есть целая вареная картофелина. Давясь, она торопливо глотала ее большими кусками, стараясь, чтобы ничего не было слышно за дверью.

Когда она вышла, то обнаружила, что двое мужчин ожидают ее выхода около двери, чтобы вернуться на свои места.

Ночью два закопченных фонаря висели по одному над каждой дверью в разных концах вагона; два мерцающих желтых пятна в темноте и серое ночное небо, дрожащее в квадратах разбитых окон. Черные фигуры, заснувшие сидя, окоченевшие и безвольные, словно манекены, качались в такт перестуку колес. Некоторые храпели. Некоторые стонали. Никто не разговаривал.

Когда они проезжали станцию, луч света проскакивал сквозь вагон, и в его свете на мгновение вспыхивала ссутулившаяся фигура Киры, уткнувшей лицо в руки, сложенные поверх колен. Уже на исходе луч успевал разбросать искры в ее волосах.

Где-то в поезде солдат наяривал на аккордеоне. Он горланил час за часом, сквозь мрак, колеса и стоны, тупо, неустанно, безнадежно. Никто не смог бы сказать, веселая это песня или печальная, шутка или бессмертное творение: это была первая песня революции, взметнувшаяся из ниоткуда, бесшабашная, безрассудная, злобная, наглая; ее пели миллионы глоток, эхо песни раскатывалось по крышам поездов, на деревенских дорогах и на темных городских тротуарах; некоторые голоса смеялись, некоторые причитали; люди смеялись над своей собственной печалью; песня революции, не вышитая ни на каком знамени, но въевшаяся в каждую утомленную глотку, песня «Яблочко»: «Эх, яблочко, куда ж ты котишься?»

*Эх, яблочко, куда ж ты котишься?*

*К немцам в лапы попадешь, не воротишься...*

*Эх, яблочко, да незрелое.*

*Я-то в красные пошел, а милка в белые...*

*Эх, яблочко, куда...*

Никто не знал, что это было за яблочко, но песню понимали все.

Каждой ночью много раз дверь темного вагона распаивалась пинком, и фонарь, покачивающийся в руке, разрывал темноту вагона, а за фонарем входили блестящие стальные штыки, военные формы, латунные пуговицы, винтовки, и мужчины с твердыми повелительными голосами приказывали: «Ваши документы!» Фонарь медленно проплывал, вздрагивая, вдоль вагона, останавливаясь на бледных, испуганных лицах с мигающими глазами и на трясущихся руках со скомканными клочками бумаг.

Галина Петровна, стараясь понравиться, повторяла:

— Здравствуйте, товарищи. Вот, товарищи, — и протягивала к фонарю кусок бумаги с несколькими напечатанными строчками, которые гласили, что это разрешение на переезд в Петроград дано гражданину Александру Аргунову с женой Галиной и дочерьми: Лидией, двадцати восьми лет, и Кирой, восемнадцати лет.

Мужчина с фонарем всматривался в бумагу, совал ее обратно и шел дальше, переступая через ноги Лидии, протянутые в походе.

Иногда некоторые мужчины бросали быстрый взгляд на девушку, которая сидела на столе. Она не спала, и ее глаза следили за ними. В этих глазах не было страха, они были самоуверенны, любопытны, враждебны.

Затем мужчины и фонарь исчезали, и снова где-то в поезде причитал солдат с аккордеоном:

*Эх, яблочко, да закатилося,  
А России нет — провалилася...  
Эх, яблочко, куда ж ты котишься?*

Иногда ночью поезд останавливался. Никто не знал, почему он останавливался. Не было никакой станции, никаких признаков жизни в бесплодной пустыне, протянувшейся на многие версты. Пустое пространство неба висело над пустым пространством земли; на небе было несколько черных пятен облаков; на земле — несколько черных пятен кустов. Чуть заметная красная трепещущая линия разделяла их; она выглядела словно далекая гроза или пожар.

Слухи расплзались по длинной цепи вагонов.

— Котел взорвался!..

— Впереди, в полуверсте взорван мост...

— В поезде обнаружили контрреволюционеров и теперь их расстреляют прямо здесь, в кустах...

— Если мы простоим дольше... бандиты... вы знаете...

— Говорят, Махно где-то здесь, по соседству.

— Если он наткнется на нас, вы представляете себе, что это значит? Никого из мужчин не останется в живых. А женщины останутся, хотя многие и предпочли бы смерть...

— Прекратите нести вздор, гражданин. Вы нервируете женщин.

Прожекторы пронизывали облака и мгновенно пропадали, и никто не мог сказать, рядом они, эти прожекторы, или за много километров от поезда. И никто не мог знать, было ли замечен-

ное ими и вроде бы движущееся пятно всадником или всего лишь кустом.

Поезд трогался так же неожиданно, как и останавливался. Вздохи облегчения приветствовали скрежет колес. Никто никогда не знал, почему останавливался поезд.

Рано утром несколько мужчин стремительно прошагали сквозь вагон. У одного из них была бляха Красного Креста. Снаружи раздавались суматошные крики. Один из пассажиров купе последовал за мужчинами. Когда он вернулся, его лицо заставило остальных поежиться.

— В следующем вагоне, — выдал он. — Глупая крестьянка. Ехала между вагонов и привязала ноги к буферу, чтобы не упасть. Заснула ночью, слишком устала. И свалилась. Ноги привязаны, ее волочило вместе с поездом под вагоном. Голову оторвало начисто. Зря ходил смотреть, не надо было.

На полпути к Петрограду, на одинокой маленькой станции, где стояла сгнившая платформа, по которой ходили расхлябанные солдаты и висели яркие плакаты, также изображавшие солдат, оказалось, что пассажирский вагон, в котором ехала семья Аргуновых, не может двигаться дальше. Вагоны не ремонтировались и не проверялись годами, и, когда в итоге они неожиданно разваливались, ремонт уже не мог помочь. Пассажирам просто приказывали быстро выбираться из вагона. Им оставалось лишь попытаться втиснуться в другие вагоны, и без того забитые. Иногда это удавалось.

Аргуновы пробились в товарный вагон. Галина Петровна и Лидия с благодарностью перекрестились.

Женщина с обвисшей грудью не смогла найти места для своих детей. Когда поезд тронулся, было видно, как она сидит на своих узлах, глядя на поезд тупым, безнадежным взглядом, а удивленные ребятишки дергают ее за юбку.

Через степи и болота ползла длинная цепь вагонов, за ними плыл и таял белыми перышками хвост дыма. Солдаты жались в кучки на покатых скользких крышах. У некоторых из них были губные гармоники. Наигрывая, они горланили «Яблочко». Песня летела за ними и таяла в дыму.

В Петрограде каждый поезд встречала толпа. Кира Аргунова столкнулась с ней, когда последний скрежет колес локомотива замер в сводах вокзала. Людями в бесформенных одеждах двигала жесткая, неестественная энергия долгой борьбы, которая стала привычкой; их лица были хмурыми и изможденными. За ними виднелись высокие зарешеченные окна; за окнами был город.

Киру теснили вперед нетерпеливые попутчики. Перед тем как прыгнуть на платформу, она на несколько коротких мгновений замерла в нерешительности, словно осознавая значение этого шага. На ее смуглых ногах были самодельные деревянные сандалии. На один миг ее нога повисла в воздухе. Затем деревянная сандалия прикоснулась к деревянному настилу платформы. Кира Аргунова была в Петрограде.

## ГЛАВА II

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Кира смотрела на слова, намалеванные на голых стенах вокзала. Штукатурка осыпалась, оставляя черные пятна, отчего стены казались прокаженными. Но на них были наляпаны свежие надписи. Красные буквы гласили: «Да здравствует диктатура пролетариата! Кто не с нами, тот против нас!»

Буквы были намазаны красной краской через трафарет. Некоторые линии получились кривыми. Некоторые буквы высохли, пустив длинные, тонкие подтеки красных извилин вниз по стенам.

К стене под надписями прислонился парень. Мятая овчинная шапка была нахлобучена на его соломенные волосы, которые развихрялись над бесцветными глазами. Он бесцельно пялился в пространство перед собой и щелкал семечки, сплевывая шелуху через угол рта.

Между поездом и стеной бурлил водоворот хаки и красного, затачивший Киру в гущу солдатских шинелей, небритых лиц, красных платков, беззвучно открытых ртов, чьи крики проглатывались грохотом двигавшихся по платформе сапог, усиленным эхом, отдававшимся в высоком стальном перекрытии. На старой бочке с ржавыми кранами и с жестяной кружкой, прикрепленной цепочкой, красовалась надпись «Кипяток» и огромными буквами «Берегись холеры. Не пей сырой воды». Беспризорный пес с ребрами как у скелета и поджатым хвостом принюхивался к грязному полу в поисках пищи. Двое вооруженных солдат продирались через толпу, таща за собой крестьянку, которая отбивалась и всхлипывала:

— Товарищи! Я ничего не сделала! Братцы, куда вы меня тащите? Товарищи, дорогие. Господи, помогите мне, я ничего не сделала!

Где-то внизу, среди сапог, плевков, грязных измятых юбок кто-то монотонно завывал; это был не человеческий голос, но и не собачий вой: женщина ползала на коленях, пытаясь собрать



рассыпавшийся мешок проса, всхлипывая, сгребая зернышки вперемешку с шелухой семечек и окурками.

Кира взглянула на высокие окна. Снаружи она услышала старый, знакомый с детства пронзительный звук трамвайного колокола. Она улыбнулась.

У двери с надписью «Комендант» стоял молоденький солдат-часовой. Его глаза были суровы и внушали страх, как темницы склепа, где лишь слабый огонек теплится под ледяными серыми сводами; безрассудная смелость застыла в чертах его загорелого лица, в руках, что сжимали винтовку, в шее, торчащей из расстегнутого воротника рубашки. Кире он понравился. Она взглянула ему прямо в глаза и улыбнулась. Ей показалось, что он понял ее, — увидел, что для нее начинается новая, большая жизнь.

Солдат холодно и безразлично скользнул по Кире взглядом. Она повернулась и пошла к своим немного разочарованная, хотя она и сама не знала точно, чего ожидала.

Солдат успел заметить лишь то, что у незнакомой девушки в детской вязаной шапочке были странные глаза; и еще — что на ней был светлый костюм, но не было лифчика; последнее его нисколько не покорило.

— Кира! — голос Галины Петровны прорвался сквозь гул вокзала. — Кира! Где ты? Где твои узлы? Что случилось с твоими узлами?

Кира вернулась к товарному вагону, где ее семья сражалась с багажом. Она совсем забыла, что должна нести три узла — носильщики были непозволительной роскошью. Галина Петровна отбивалась от них — здоровенных бездельников в истрепанных солдатских шинелях, которые хватали багаж без всяких просьб, нагло предлагая свои услуги.

И вот, отягченная тюками с последними остатками былого состояния, семья Аргуновых ступила на землю Петрограда.

Золотой серп и молот были прикреплены над выходом у вокзала. По сторонам висели два плаката. Один изображал громадного рабочего, чьи гигантские сапоги крушили игрушечные дворцы, в то время как его поднятая рука, с мышцами красными, словно кусок мяса, приветствовала столь же красное восходящее солнце. Над солнцем стояли слова: «Товарищи! Мы — строители Новой Жизни!»

Второй плакат знакомил с огромной белой вошью на черном фоне с красными буквами: «Вши распространяют болезни! Товарищи, все на борьбу с тифом!» Вонь карболки перебивала все остальные запахи. Здания вокзала были продезинфицированы от болезней, которые выплескивались на город с каждым поездом. Словно у больничного

окна вонь висела в воздухе, как предупреждение и зловещее напоминание.

Двери в Петроград открывались на Знаменскую площадь. Знак на углу провозглашал ее новое имя: «Площадь Восстания». Огромный памятник Александру III смотрел на вокзал на фоне серого здания гостиницы, на фоне серого неба. Капли падали одна за другой через долгие промежутки, медленно, монотонно, как будто небо протекало, как будто оно тоже нуждалось в ремонте, как и прогнившие деревянные настилы, на которых капли вспыхивали серебряными искорками в темных лужах. Это был ненастоящий дождь.

Закрытые крыши раскачивающихся и вздрагивающих двухколесных дрожек выглядели так, словно были сделаны из лакированной кожи; колеса чавкали в грязи словно голодные животные. Старые здания взирали на площадь мертвыми глазами закрытых магазинов, из чьих пыльных витрин паутина и скомканные газеты не выметались уже пять лет. Но один из магазинов нацепил картонную вывеску «Продовольственный центр». Очередь переминалась с ноги на ногу у двери, загибаясь за угол: длинная цепь ног в обуви, разбухшей от дождей, красных замерзших рук, опущенных голов, поднятых воротников, за которые свободно падали и скатывались вниз по спинам дождевые капли.

— Ну, — произнес Александр Дмитриевич, — вот мы и вернулись.

— Разве это не прекрасно! — сказала Кира.

— Грязно, как всегда, — сказала Лидия.

— Придется взять извозчика. Хоть и дорого! — сказала Галина Петровна.

Они набились в одни дрожки; Кира устроилась поверх узлов. Лошадь рванула вперед, окатив грязью ноги Киры, и повернула на Невский проспект. Длинная, широкая улица лежала перед ними, такая прямая, словно позвоночник города. Вдали тонкий золотой шпиль Адмиралтейства слабо блестел в серой дымке, словно длинная рука, взметнувшаяся в торжественном приветствии.

Петроград пережил пять лет революции. Первые четыре года перекрыли каждую его артерию, ликвидировали все магазины; национализация размазала пыль и опутала паутиной зеркальные витрины; последний год вернул мыло, метлы, свежую краску и привел новых владельцев, потому что новая экономическая политика провозгласила «временный компромисс» и позволила вновь робко открыться маленьким частным магазинчикам.

После долгого сна Невский медленно открывал глаза. Они долго привыкали к свету и наконец в нетерпении распахнулись

и теперь тарашились расширенные, испуганные, недоверчивые. Новые вывески были картонными полосками с яркими неровными буквами. Старые вывески были мраморными некрологами людям, исчезнувшим давным-давно. Золотые буквы напоминали о забытых именах на витринах новых владельцев, а пулевые отверстия и трещины все еще украшали стекло. Были магазины без вывесок и вывески без магазинов. Но между витринами и над закрытыми дверями, над кирпичами, досками и треснувшей штукатуркой город принарядился в мантию из ярких красок, похожую на лоскутное одеяло: тут и там висели плакаты с красными рубахами, и желтой пшеницей, и багровыми знаменами, и синими колесами, и красными платками, и серыми тракторами, и рыжими трубами; они вымокли, стали полупрозрачными под дождем, под ними проступили слои старых плакатов. Никому не подконтрольные, никем не сдерживаемые, эти плакаты размножились словно яркая городская плесень.

На углу старушка скромно держала в руках поднос с домашними пирожками, но ноги спешно проходили мимо, не останавливаясь; кто-то выкрикивал: «“Правда”!.. “Красная газета”! Последние новости, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Сахарин, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Кремни для зажигалок, дешево, граждане!» Внизу была лишь грязь да шелуха семечек; наверху, склоняясь над улицей из каждого дома, реяли размытые, когда-то красные знамена, истекавшие мелкими розовыми каплями.

— Я надеюсь, — сказала Галина Петровна, — что сестра Маруся будет рада видеть нас.

— Я сгораю от любопытства, — сказала Лидия, — интересно, как Дунаевы пережили эти годы?

— А мне не терпится взглянуть, что осталось от их состояния, если, конечно, хоть что-нибудь осталось. Бедная Маруся. Я сомневаюсь, что у них сохранилось больше, чем у нас.

— Даже если и сохранилось, — вздохнул Александр Дмитриевич, — какое это имеет значение сейчас, Галина?

— Никакого, — произнесла Галина Петровна, — но я надеюсь.

— Как бы то ни было, мы пока еще не бедные родственники, — гордо сказала Лидия и немного вздернула юбку, чтобы продемонстрировать прохожему свои оливково-зеленые высокие сапожки на шнуровке.

Кира не слушала их, она рассматривала улицы. Извозчик остановился у здания, где четыре года назад они в последний раз виделись с Дунаевыми в их великолепной квартире. В одной половине внушительной входной двери сохранилось огромное квадратное

зеркальное стекло; другая половина была наспех забита некрашеными досками.

Раньше, как припоминала Галина Петровна, в просторном вестибюле лежал мягкий ковер, и горел камин ручной работы. Ковер исчез; камин все еще стоял, но на белых животах его мраморных купидонов были нацарапаны надписи, по зеркалу над камином расползлась длинная, из угла в угол, трещина.

Заспанный дворник высунул голову из своей каморки под лестницей и с безразличием убрал ее обратно. Втащив узлы по лестнице, они остановились у двери Дунаевых; черная клеенка была содрана, и серые клочки грязной ваты окаймляли дверь.

— Хотела бы я знать, — прошептала Лидия, — остался ли у них до сих пор их величественный дворецкий.

Галина Петровна нажала на звонок.

Внутри послышались шаркающие шаги. Повернулся ключ. Рука осторожно приоткрыла дверь, защищенную цепочкой. Через узкую щель они увидели лицо старухи, закрытое свисающими космами, живот под грязным полотенцем, повязанным как передник, и одну ногу в мужском тапке. Старуха глядела на них, враждебно изучая, не проявляя намерения открыть дверь шире.

— Здесь ли Мария Петровна? — спросила Галина Петровна слегка неестественным голосом.

— А что надо? — прошамкал беззубый рот.

— Я ее сестра, Галина Петровна Аргунова.

Старуха не ответила, она повернулась и прокричала в комнату:

— Мария Петровна, здесь толпа, которая говорит, что они ваша сестра!

В ответ из глубины дома раздался кашель, послышались медленные шаги, затем бледное лицо выглянуло из-за плеча старухи и рот раскрылся в беззвучном крике:

— Господи боже мой!

Дверь распахнулась настежь. Две тонкие руки обняли Галину Петровну, прижимая ее к трясущейся груди.

— Галина! Дорогая! Ты ли это?

— Маруся! — губы Галины Петровны утонули в пудре, безуспешно скрывавшей отвисший подбородок, а нос — в тонких, сухих волосах, надушенных духами, пахнувшими ванилью.

Мария Петровна всегда была красой семьи, нежная и избалованная драгоценность, которую муж зимой носил на руках по снегу до самой кареты. Сейчас она выглядела старше Галины Петровны. Ее кожа была цвета грязного белья, ее губы были недостаточно красными, зато слишком красными были белки ее глаз.

Дверь за ней распахнулась, и что-то ворвалось в прихожую, что-то высокое, стройное, с гривой волос и глазами, как автомобильные фары: Галина Петровна узнала Ирину, свою племянницу, девушку с двадцативосьмилетними глазами и смехом восьмилетней девочки. За ней Ася, ее младшая сестра, медленно прокрадась и встала в дверном проходе, угрюмо разглядывая приезжих; ей было восемь лет, ее давно не подстригали, а в волосах не хватало ленты.

Галина Петровна поцеловала девочек; затем она поднялась на цыпочки и поцеловала в подбородок своего шурина, Василия Ивановича. Она старалась не смотреть на него. Его густые волосы поседели; высокая, властная фигура сгорбилась. Даже увидев скрюченный шпиль Адмиралтейства, Галина Петровна не почувствовала бы такой горечи. Василий Иванович сказал:

— Неужели это мой дружок Кира?

Вопрос был теплее, чем поцелуй.

Его впавшие глаза выглядели как камин, в котором последние искрящиеся угольки безнадежно борются с мертвой сажой. Он добавил:

— Извините, Виктора нет дома, он в институте. Мальчик так много работает.

Имя его сына подействовало словно сильное дыхание, которое на мгновение оживило угольки.

Перед революцией Василий Иванович Дунаев был процветающим меховщиком. Он начинал охотником в дикой сибирской глуши, имея лишь ружье, пару валенок и руки, которые могли поднять быка. От медвежьих зубов у него остался шрам на бедре. Однажды его нашли погребенным под снегом; он пролежал там несколько дней; но руки его сжимали такого великолепного песка, какого нашевшие его напуганные сибирские крестьяне в жизни не видели. Его родственники ничего не слышали о нем в течение десяти лет. Когда он вернулся в Санкт-Петербург, он открыл магазин, даже дверные ручки которого были бы не по карману его родственникам, и купил серебряные подковы для своей тройки, которая гарцевала с каретой по Невскому.

Его руками добывались горностаи, края шлейфов из которых скользили по мраморным лестницам в царских дворцах; соболя, укутывавшие многие плечи, белые, как мрамор. Каждый волосок на шкурках, прошедших через его руки, был оплачен силой его мышц и бесконечными часами морозных сибирских ночей.

В шестьдесят лет его позвоночник был так же прям, как его ружье; его дух — так же прям, как его позвоночник.

Когда Галина Петровна поднесла к губам дымящуюся ложку пшенной каши в столовой своей сестры, она украдкой взглянула на Василия Ивановича. Она боялась всмотреться в него открыто, но вновь замечала сгорбленную спину и думала, что-то стало с его духом.

Она заметила перемены в гостинной. Ложечка в ее руках была не из столового серебра с монограммой, которую она хорошо помнила; она была из тяжелой жести, придававшей каше металлический привкус. Она помнила хрустальные и серебряные вазы для фруктов на буфете; сейчас его украшал одинокий глиняный кувшин.

Безобразные ржавые гвозди на стенах обозначали те места, где раньше висели старинные картины.

Напротив за столом Мария Петровна тараторила с нервной, прерывистой спешкой — странная карикатура на те капризные манеры, которые до революции завораживали любую гостиную, в которую она входила. Она произносила незнакомые Галине Петровне слова. Эти слова были словно вехи всех лет разлуки и символ того, что случилось за эти годы.

— Продовольственные карточки — они только для совслужащих. И для студентов. Мы получаем только две продовольственные карточки. Лишь две карточки на семью — это очень нелегко. Студенческие карточки Виктора в институте и Ирины в Академии художеств. Но я нигде не служу, поэтому и не получаю карточку, а Василий...

Она прервалась на секунду, словно ее слова забежали слишком далеко, украдкой посмотрела на мужа — взгляд был полон раблепия. Василий Иванович уставился в тарелку и ничего не сказал.

Мария Петровна красноречиво взмахнула руками:

— Сейчас тяжелые времена, Господи, помилуй, какие тяжелые времена. Галина, ты помнишь Лилию Савинскую, ту, что никогда не носила никаких украшений, кроме жемчуга? Так вот, она умерла. Умерла в девятнадцатом. Вот как это случилось: у них несколько дней было нечего есть, ее муж бродил по улицам и увидел труп лошади, павшей от голода, там уже дралась толпа. Они рвали труп на части. Он выхватил немного. Принес кусок домой, они приготовили его и съели; я думаю, что лошадь умерла не только от голода, потому что они оба ужасно заболели. Врачи спасли его, но Лилия умерла. Конечно, он все потерял в восемнадцатом... Его сахарный завод — он был национализирован в тот же день, что и наш магазин мехов...

Она снова остановилась на мгновение, глядя на Василия Ивановича из-под дрожащих век, но он не произнес ни слова.

— Еще, — угрюмо сказала маленькая Ася и протянула тарелку за добавкой.

— Кира! — звонко позвала Ирина через стол голосом таким чистым и звонким, словно смахивала прочь все, что было сказано. — Ты ела свежие фрукты в Крыму?

— Да, немного, — безразлично ответила Кира.

— Я мечтала, тосковала и умирала, вспоминая виноград. Ты любишь виноград?

— Я никогда не замечаю, что я ем, — сказала Кира.

— Конечно, — заторопилась Мария Петровна, — муж Лилии Савинской сейчас работает. Он служащий в советском учреждении. Некоторые устраиваются на работу, несмотря ни на что...

Она многозначительно посмотрела на Василия Ивановича, но он не ответил.

Галина Петровна робко спросила:

— А как, как... наш старый дом?

— Ваш? На Каменноостровском? Даже не мечтайте о нем. Там теперь живет художник-оформитель. Настоящий пролетарий. Бог знает, где вы найдете квартиру, Галина. Теперь людей везде как собак нерезаных.

Александр Дмитриевич робко спросил:

— Вы не слышали о том, что... о фабрике... что случилось с моей фабрикой?

— Закрыта, — внезапно рявкнул Василий Иванович, — они не смогли запустить ее. Закрыта. Как и все остальное.

Мария Петровна залилась кашлем.

— Такая проблема для вас, Галина, такая проблема! Девочки ходят в школу? А как вы собираетесь получить продовольственные карточки?

— Но, я думала, нэп и все такое... сейчас у вас есть частные магазины.

— Конечно, нэп, новая экономическая политика, конечно, сейчас разрешили частные магазины, но где взять денег, чтобы покупать в них? Там заламывают в десять раз больше, чем в продовольственных кооперативах. Я еще ни разу не была в частном магазине. Нам это не по средствам. Это никому не по средствам. Мы не можем позволить себе даже сходить в театр. Лишь раз Виктор взял меня на постановку. Но Василий — ноги Василия не будет в театре.

— Почему же?

Василий Иванович поднял голову, его взгляд был суров, когда он торжественно произнес:

— Когда родная страна в агонии, развлекаться — непозволительная беспечность. Я в трауре — по моей стране.

— Лидия, — спросила Ирина своим бодрым голосом, — ты еще не влюблена?

— Я не отвечаю на неприличные вопросы, — ответила Лидия.

— Я скажу вам, Галина, — снова зашпешила Мария Петровна и вдруг захлебнулась кашлем, но несколько мгновений спустя продолжила: — Я скажу вам, что вы должны сделать — Александр должен устроиться на работу.

Галина Петровна выпрямилась, словно ее ударили по лицу:

— На советскую работу?

— Видишь ли... любая работа — работа на Советы.

— Пока я жив — никогда, — с неожиданной силой произнес Александр Дмитриевич.

Василий Иванович уронил ложку — она звякнула о тарелку; безмолвно и торжественно он протянул над столом свою громадную ладонь и пожал руку Александру Дмитриевичу, бросив мутный взгляд на Марию Петровну. Она засуетилась, проглотила ложечку пшенки и закашляла опять.

— Про тебя, Василий, я ничего не говорю, — тихо возразила она. — Я знаю, ты не одобряешь и... м-м, никогда не одобришь... Но я всего лишь думала о том, что в этом случае они получат хлебные карточки, сало и сахар. Советские служащие получают это время от времени.

— Прежде ты станешь вдовой, Мария, — сказал Василий Иванович, — чем меня заставят пойти работать на советскую власть.

— Я ничего такого не говорю, Василий, только...

— Только прекрати нервничать. Проживем как-нибудь. Еще не известно, что будет впереди. У нас еще есть что продать.

Галина Петровна посмотрела на гвозди в стенах, затем на руки своей сестры, знаменитые руки, которые рисовали художники и о которых было написано стихотворение «Шампанское и руки Марии». Они замерзли до темно-фиолетового цвета, распухли и потрескались. Мария Петровна с детства понимала ценность своих рук: она научилась держать их в красоте постоянно, пользоваться ими с гибкой грацией балерины. Это искусство она не утратила. Галине Петровне было бы легче, если бы и эта привычка исчезла у нее — плавные, порхающие жесты этих рук были единственным напоминанием о прошлом. Василий Иванович внезапно разговорился. Он всегда обуздывал проявления чувств, но одна тема так задевала его, что он не мог не выговориться:

— Все это временно. Вы так легко потеряли веру. Это главная беда нашей бесхребетной, хныкающей, бессильной, болтливой, благодушной, слюнявой интеллигенции. Поэтому мы сейчас там, где мы есть. Нет веры. Нет желания. Интеллигенция! Вместо



крови — какая-то размазня. Вы думаете, это все может продолжаться дальше? Думаете, Россия мертва? Думаете, Европа слепа? Взгляните на Европу. Она еще не сказала свое последнее слово. Придет день — скоро, — когда эти кровавые палачи, эти грязные негодяи, эти коммунистические отбросы...

Зазвенел дверной колокольчик.

Старая служанка, шаркая, пошла открыть дверь. Они услышали мужские шаги, проворные, звонкие, энергичные. Сильная рука распахнула дверь в столовую.

Виктор Дунаев выглядел как тенор в Итальянской королевской опере, что вовсе не было профессией Виктора. У него были широкие плечи, горящие карие глаза, густые непослушные черные волосы, сверкающая улыбка, надменно-уверенные движения. Остановившись на пороге, он сразу взглянул на Киру; она повернулась на стуле, и он перевел взгляд на ее ноги.

— Да это же крошка Кира! — были первые звуки его сильного, чистого голоса.

— Была когда-то, — ответила Кира.

— Да, да, какой сюрприз. Какой очень приятный сюрприз!.. Тетя Галина моложе, чем всегда! — Он поцеловал руку тете. — И моя обворожительная кузина Лидия!

Его черные волосы коснулись ее запястья.

— Извините за опоздание. Собрание в институте. Я член Совета студентов. Извини, отец. Отец не одобряет какие бы то ни было выборы.

— Иногда даже и на выборах не ошибаются, — сказал Василий Иванович, не скрывая отеческой гордости в голосе, и теплота в его глазах внезапно придала им беспомощное выражение.

Виктор развернул стул и сел рядом с Кирой.

— Ну, дядя Александр, — он сверкнул белоснежно-блестящей цепью зубов на Александра Дмитриевича, — вы выбрали удивительное время для возвращения в Петербург. Жестокое время, не без этого. Трудное время. Но самое восхитительное время, как и все катаклизмы истории.

Галина Петровна улыбнулась с восхищением:

— А где ты учишься, Виктор?

— В Технологическом институте. На инженера-электрика. У электричества великое будущее. Будущее России... Но отец так не думает... Ирина, ты когда-нибудь причесываешься? Какие у вас планы, дядя Александр?

— Я открыл магазин, — торжественно, почти гордо провозгласил Александр Дмитриевич.

— Но это потребует определенных финансовых затрат, дядя Александр.

— Нам удалось немного накопить на юге.

— Боже мой! — воскликнула Мария Петровна. — Вы бы лучше потратили их как можно скорее. Новые бумажные деньги обесцениваются так быстро — вот, например, на прошлой неделе хлеб стоил шестьдесят тысяч за фунт, а сегодня уже семьдесят пять.

— У новых предприятий, дядя Александр, большое будущее в наше новое время, — сказал Виктор.

— До тех пор, пока правительство снова не раздавит их каблуком, — уныло произнес Василий Иванович.

— Нечего бояться, отец. Дни конфискаций прошли. У советской власти очень прогрессивные политические планы.

— Начертанные кровью, — сказал Василий Иванович.

— Виктор, на юге носят такие смешные вещи, — торопливо заговорила Ирина, — ты заметил деревянные сандалии Киры?

— Все в порядке, Лига Наций. Так мы зовем Ирину. Она старается поддерживать мир. О да, я бы очень хотел увидеть ее сандалии.

Кира безразлично подняла ногу. Ее короткая юбка лишь самую малость прикрывала ноги. Она этого не замечала, но заметили Виктор и Лидия.

— В твоем возрасте, Кира, — резко заметила Лидия, — пора носить юбки длиннее.

— Если бы еще был материал, — безразлично произнесла Кира. — Я никогда не обращаю внимания на то, что я ношу.

— Лидия, дорогая, какая чепуха, — подвел итог Виктор, — короткие юбки — это апогей женского изящества, а женская элегантность — высочайшее из искусств.

\* \* \*

Этой ночью, перед отходом ко сну, две семьи собрались в гостиной. Мария Петровна с большой неохотой отобрала три полена и развела огонь в камине.

Маленькие язычки пламени замерцали на глянцевом фоне крошечной темноты за большими убогими окнами без занавесок; крохотные огоньки танцевали на полированных изгибах мебели ручной работы, оставляя в тени разорванную парчу; отблески огня переливались в тяжелой золотой раме единственной картины на стене, оставляя в тени саму картину — портрет Марии Петровны двадцатилетней давности: ее изящная ручка покоилась на плече, словно выточенном